
КОНЦЕПЦИИ ИСТОРИИ

С. П. ЧЕРНОЗУБ

КОНЦЕПТ НАЦИОНАЛЬНОЙ НАУКИ В НОВОМ ДИСКУРСЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ*

Автор анализирует развитие нового концепта национальной науки, используя материалы книжной серии, издающейся уже более полувека. В чем-то он дополняет, а в чем-то конкурирует с традиционным концептом, основанным на универсалистском понимании науки как деятельности, не затрагивающей ни культурных, ни религиозных, ни нравственных, ни психологических основ общества, в котором она осуществляется. Если в традиционном понимании из национальных характеристик науки фактически имеет смысл только одна – общее гражданство (подданство) ряда ученых, то новый концепт предполагает наличие многообразных органичных связей между наукой и особенностями национальной культуры.

Ключевые слова: национальная наука, культурологический (антропологический) концепт национальной науки, наука и «конфликт цивилизаций».

Национальной науки нет, как нет национальной таблицы умножения; что же национально, то уже не наука.

А. П. Чехов

У них великий аргумент, что наука общечеловечна, а не национальна. Вздор! Наука везде и всегда была в высшей степени национальна – можно сказать, науки в высочайшей степени национальны.

Ф. М. Достоевский

Вопрос о национальной науке в современной России – один из немногих, по которым и сообщество ученых, и салонные интеллектуалы, и «широкие массы» практически единодушны – именно по-

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант № 09-06-00414.

этому приведенное в эпитафии высказывание А. П. Чехова кочует по бесчисленным сборникам афоризмов. Вместе с тем известно: там, где обнаруживается единодушие экспертов, наука чаще всего заканчивается, и начинается что-то другое, например экономический интерес или политика. Ну а если с решением вопроса, имеющего исключительно научный характер, согласны и ученые, и дилетанты, без сомнения, можно говорить о мощном политико-идеологическом основании такого согласия. Во всяком случае, у нас периоды единодушия по отношению к самому факту существования национальной науки были обусловлены контекстом проводимой КПСС политики «железного занавеса», от ее оголтелых форм в 1950-е до сравнительно мягких в последующие годы.

Однако закрыть дискуссию, даже на волне организованного единодушия, не значит ликвидировать породившую ее проблему. В любой момент вопрос, признанный решенным, может внезапно актуализироваться, да еще и не в самой приличной форме, как это некогда произошло в известной сказке о новом платье короля. На мой взгляд, подобным образом все чаще дает о себе знать и проблематика национальной науки. Например, любому желающему доступна редакционная статья из журнала *Nature* о «научном национализме» как главном пороке научного истеблишмента в России и главной причине медленного развития российской науки за последние годы (Scientific... 2010). Такой вот неожиданный реприманд стране единодушного научного интернационализма.

Нетрудно найти и другие примеры реанимации национального вопроса применительно к анализу ситуации в отечественной науке¹ и предположить его дальнейшее обострение под влиянием современного политического контекста, все более и более чувствительного к проблемам национальных отношений. Не исключаю даже попыток «переполюсовки» общественного мнения по этому вопросу вплоть до массивных инсталляций приведенной в эпитафии фразы Ф. М. Достоевского на место чеховского изречения по всем популярным энциклопедиям и сборникам афоризмов. Однако пока такой момент не наступил (и чтобы он не наступил никогда), философы и историки науки должны приложить все усилия к тому, чтобы исключить возможность манипулирования общественным мнением при решении проблем отечественной науки.

¹ Скажем, дискуссия «о судьбах российской науки», которую журнал «Эксперт» начал статьей «Шесть мифов Академии наук» (Гуриев и др. 2009). Впрочем, инициаторы дискуссии скорее использовали тему «судьбы» как повод для продвижения вполне прозрачных интересов другого рода.

Самое простое, что можно сделать, – это популяризировать результаты взвешенных исследований истории нашей науки, а также стимулировать качественные дискуссии. Кстати, в те несколько десятилетий, когда «национальная наука» была предметом энергичных споров, Россия переживала невиданный ни до, ни после расцвет науки. Я имею в виду вторую половину XIX – начало XX века.

Делу оздоровления ситуации, на мой взгляд, может содействовать и расширение «угла обзора» проблематики до такой степени, чтобы отношения между нашей и зарубежной наукой выступали частным случаем типичных вопросов развития науки во всем мире. Например, в данной статье проблематика национальной науки рассматривается в контексте анализа некоторого множества ее интерпретаций. Они имеют разный исторический возраст, обусловлены особенностями взаимоотношений между странами – лидерами в области науки и представителями научной периферии, спецификой конкуренции между лидерами и др. Непосредственный предмет анализа – исследования, опубликованные в книжной серии *Boston Studies in the Philosophy of Science* (Бостонские исследования по философии науки).

Материалы серии, издающейся с 1963 года, к настоящему времени составляют около 300 томов. В числе авторов – естествоиспытатели, математики, философы, специалисты по истории и социологии науки, а также лингвисты, психологи, медики и литературоведы из разных стран. Широкий и многомерный контекст, по замыслу издателей, – залог постоянного воспроизводства интереса к обсуждению первых принципов философии науки и «прививка» от догматизма при осмыслении ее проблем. Этот контекст дополняет какие-то измерения и представленным в серии философским осмыслением науки как эволюционирующего социального феномена. В частности, сказанное относится и к материалам по тематической и методологической эволюции исследований национальной науки.

Национальная наука: предыстория и первый концепт

Национальная наука как предмет самостоятельных исследований имеет свою историю. В период возникновения классической науки (XVII век) «национальный вопрос» явным образом в ней не поднимался. Это обусловлено комплексом причин культурного, экономического и политического характера.

Во-первых, если наука, по словам Ф. Бэкона, есть не что иное, как отображение природы, то естественно, что качественное отображение не должно содержать и следа социально-культурных особенностей тех обществ, в которых ученые отыскивают истину². Во-вторых, в условиях неограниченной конкуренции технологические достижения на базе открытий классической науки не только довольно быстро распространялись и заимствовались, но и убедительно подкрепляли идеологию универсальной мощи и единства науки. В-третьих, культурные границы между образованными, а тем более учеными людьми в эпоху становления классической науки были отнюдь не жесткими. Общая для всех латынь и нередкое по тем временам знание нескольких языков позволяли без труда обмениваться идеями, а при необходимости и перемещаться из одной страны в другую. К тому же общественное сознание тогдашних европейцев было почти лишено национального³ компонента. Отношение между подданным и монархом определялось взаимными обязательствами. Ученый-космополит в те времена был вполне органичным явлением (так же, как военный, а нередко и сам монарх).

Иначе говоря, проблематика национальной науки не могла актуализироваться прежде начала активного формирования европейских наций. Впрочем, какое-то предчувствие будущей конкуренции национальных научных сообществ можно усмотреть уже в идее Бэкона (1972) о зависимости богатства и благополучия государства от того, насколько эффективно организована в нем деятельность ученых. Однако это не более чем предчувствие. Только войны и революции XVIII–XIX веков, в которых сформировалось самосознание ведущих европейских наций, актуализировали проблематику национальной науки.

В зените эпохи Просвещения интерес к национальной науке был еще вполне периферийным. С одной стороны, просветители полагали, что разум как суверенную сущность человека отличают

² Пожалуй, с его точки зрения, скорее имело смысл говорить о национальных особенностях препятствий к развитию науки. Ведь именно культурные и политические традиции, вкусы, ценности – корень многочисленных предрассудков, которые подавляют критические способности отдельных людей. Подчиняя свое сознание традиции, мнению большинства или ограничивая свой кругозор интересами какой-либо социальной группы, люди волей-неволей впадают в зависимость от этих ложных, по мнению Бэкона, богов (идолов), чья многочисленность и своенравие уже сами по себе служат преградой на пути к единому богу (единой истине).

³ Если называть нациями «государственные образования, то есть согражданства» (Тишков 2000), определяемые не по этнической, а по территориальной идентичности.

универсализм, независимость от национальных, сословных и вероисповедных различий. Поэтому истина открывается всем людям в одном и том же обличье, она принципиально лишена какой бы то ни было национальной специфики. И для Ж. А. Кондорсе, и для Ж. д'Аламбера, и для Б. Фонтенеля сам термин «национальная наука», пожалуй, показался бы воплощением абсурда. Однако натурализм, принцип физической каузальности, достигнув монопольного положения в объяснении природы познания, имманентно порождает потребность в осознании его пределов. Поднятый И. Кантом вопрос о границах чистого разума – тоже отклик на указанную потребность.

Это действительно естественная, органичная потребность. Напомню: У. Матурана и Ф. Варела (2001), обсуждая биологические корни человеческого познания, пришли к выводу, что наличие границы – неперемный атрибут живой самовоспроизводящейся (ауто-поэтической) системы. Без него невозможно осуществление таких функций системы, как самосохранение, самовоспроизведение, самоидентификация. Появление границы (мембраны) свидетельствует о том, что система в своем развитии достигла уровня, на котором стало возможным ее автономное существование.

Следует учесть, что проблема границы, сохранения автономии для науки (человеческого разума) в XVIII веке возникла в контексте вопроса о статусе европейской цивилизации в целом. Европа начала осознавать себя не просто автономной подсистемой мировой культуры. Она ищет рациональное объяснение – разумеется, в целях оправдания и увековечивания – сложившейся системы отношений с другими частями мира. И в данном случае наличие экспериментального естествознания справедливо рассматривалось в качестве одного из ключевых отличий европейской культуры от всех прочих.

Из попыток выявить физические основания для этого и других культурных различий, не объяснявшихся никакими универсалистскими концепциями, возникает ряд идей, которые в следующем веке послужат стимулом к формированию концепта национальной науки. Я имею в виду и географический детерминизм, и некоторые философские аспекты нарождающегося сравнительно-исторического языкознания. В лоне этих теоретических конструкций сформировались идеи о том, что успехи различных народов в интеллектуальной деятельности, ремеслах и изобретениях, а также в устройстве общественных дел объясняются действием объективных фи-

зических факторов. Например, влиянием ландшафта, климата, составом воздуха (Ж.-Б. Дюбо, Ш. Монтескьё) или особенностями языка (Ф. Шлегель, В. Гумбольдт).

Та же логика поиска границ, внутри которых были бы возможны самоидентификация и самовоспроизводство «европейского духа», определяла и развитие саморефлексии в области науки. С одной стороны, слово «цивилизация» в XIX веке начинает употребляться не только в значении «период мировой истории», но и в смысле, разделяющем единую человеческую историю на локальные подсистемы, а с другой – наука, оставаясь символом единства человеческого разума, начинает выступать в национальных ипостасях. Классический образец такой логики дает Г. Бокль (2007), последовательно переходя от определения особенностей цивилизации в Европе и вне ее к описанию цивилизации в Англии и некоторых других странах. Поскольку для Бокля история – это естественная наука (пусть еще не вполне сложившаяся), развитие цивилизации у него в определенном смысле есть не что иное, как развитие человеческого познания вплоть до его вершины в виде позитивных наук.

Эта позитивистская парадигма вроде бы позволяла Боклю сохранить универсалистский подход, подняться над методологическими особенностями различных наук. Однако, объявив качественное своеобразие наук (в методологическом и цивилизационном аспекте) иллюзией, он все-таки не снял с повестки дня интерес к этой проблематике. В каком-то смысле он даже подогрел его, поскольку вывел вопрос в область конкуренции за первенство по степени приближения к идеалу позитивной науки. И если споры о том, далеко ли обществоведческим и гуманитарным наукам до совершенства, не перетекали за границы академических дискуссий, то проблема конкуренции между нациями в области научных исследований получила значительный общественный резонанс⁴.

В какой-то мере этому способствовал обостренный интерес к любым формам *национального вопроса*, характерный для XIX века с его непрерывными вспышками национальных восстаний, революций, войн и пр. К тому же примерно в середине XIX века ученые активно и, опять же, по всей Европе превращаются в государственных служащих, что порождало для каждой страны потребность в

⁴ Н. Кареев (1992), русский историк-позитивист, обращаясь к исследованию духа русской науки, заметил, что предмет подобного исследования возникает сам собой в обстановке, когда для Ф. Гизо самой истинной историей цивилизации является история Франции, для Г. Бокля – Англии, а для Г. В. Ф. Гегеля – Германии.

артикулированном представлении отношений государства и научного сообщества⁵. А это, в свою очередь, вписывало национальные сообщества ученых в контекст политической конкуренции.

Созданный таким образом в рамках позитивистского подхода концепт национальной науки оказался весьма жизнеспособным. Фактически он доминировал до второй половины XX века. Период его заката и преобразования, наполнения новым содержанием – достояние последних пяти десятилетий.

Период кризиса и переосмыслений

Достаточно красноречивые свидетельства о направлениях тематической и методологической эволюции исследований национальной науки дает даже перечень томов, посвященных данной тематике. Отмечу, что я говорю о науке в том смысле, которому соответствует английское *science*, т. е. имея в виду комплекс математических и естественных наук. К началу 1960-х годов так простодушно объединять последние с общественными и гуманитарными науками, как это делали позитивисты XIX века, уже не представлялось возможным. И хотя усилиями Т. Куна и его последователей именно в 1960-е годы начинался новый этап методологического сближения между этими комплексами знания, исследования по философии и методологии математических и естественных наук сохранили дисциплинарную автономию⁶. Для удобства перечень из 17 томов, в которых затрагивается национальный аспект научной работы, представлен в виде таблицы.

Таблица⁷

Название тома	Номер тома в серии	Год выхода
1	2	3
Italian Studies in the Philosophy of Science	47	1980
Polish Essays in the Philosophy of the Natural Sciences	68	1982
Greek Studies in the Philosophy and History of Science	121	1990

⁵ В России, например, «положение профессоров в качестве чиновников в университетах было закреплено в уставе 1884 года и постоянно подчеркивалось на всех официальных церемониях» (Щетинина 1976: 167).

⁶ Чтобы обозначить эту автономию терминологически, в англоязычных странах сформировалась (у нас формируется) практика обозначения философии науки (в смысле *philosophy of science*) термином «эпистемология».

⁷ См.: Boston studies in the philosophy of science (BS) V. 45, 47, 68, 121, 134, 141, 156, 172, 178, 179, 186, 190, 219, 236, 221, 244, 276.

Окончание табл.

1	2	3
World Views and Scientific Discipline Formation Science Studies in the German Democratic Republic	134	1991
Philosophy and Conceptual History of Science in Taiwan	141	1992
The Development of Arabic Mathematics: Between Arithmetic and Algebra. Rashed R.	156	1994
Mexican Studies in the History and Philosophy of Science	172	1996
Québec Studies in the Philosophy of Science	178	1996
Chinese Studies in the History and Philosophy of Science and Technology	179	1996
Spanish Studies in the Philosophy of Science	186	1996
Austrian Philosophy Past and Present. Essays in Honor of Rudolf Haller	190	1997
Japanese Studies in the Philosophy of Science	45	1998
Estonian Studies in the History and Philosophy of Science	219	2001
The Reception of Darwinism in the Iberian World Spain, Spanish America and Brazil	221	2002
Bulgarian Studies in the Philosophy of Science	236	2003
Turkish Studies in the History and Philosophy of Science	244	2005
French Studies in the Philosophy of Science Contemporary Research in France	276	2009

Легко заметить почти полное отсутствие интереса к проблематике *национальной науки* на протяжении 1960–1980-х годов. За 20 лет вышли всего два тома (47 и 68), посвященные соответственно исследованиям науки в Италии и Польше. По-видимому, концепция национальной науки как фактора международной конкуренции уже воспринималась как общее место и не представляла интереса для философов, так что даже всепроникающая идеология конкуренции между странами социалистического и капиталистического лагеря не могла этот интерес достаточно стимулировать. До крушения мировой системы социализма единственный том, в котором проблемы идеологической конкуренции не игнорировались, – это т. 134, посвященный науке в ГДР. Правда, уже была разрушена Берлинская стена, и данная конкуренция рассматривалась как уходящий феномен, влияние которого должно быть изжито. Р. Коэн,

один из основателей серии, а также один из редакторов тома, не без пафоса рекомендовал его западным читателям как доказательство того, что традиции немецкой философии науки не прерывали своего существования «по обе стороны железного занавеса». При этом он призывал серьезно исследовать вопрос о том, что в действительности представляла собой научная деятельность в условиях тоталитарного строя, а заодно и посмеивался над стереотипами восприятия западными учеными коллег из социалистических стран и наоборот (Cohen 1991: ix–x).

Другая часть позитивистского концепта – идея национальной науки как фрагмента общемировой (не знающей никаких национально-культурных особенностей) – хотя и представлена в публикациях серии, но очевидно, что не она стала «запалом» той исследовательской активности, которая вспыхнула в 1990-е годы.

Два тома, опубликованные в 1980-е годы, служат примером такого традиционного подхода к исследованию национальной науки. Редактор-составитель «Польских исследований по философии естественных наук» (т. 68) В. Краевский, представляя том, пишет не о *польской* философии науки, а о философии науки в Польше, *акцентируя внимание* на именах, основных темах и произведениях. Он подробно останавливается на взаимоотношениях разных философских течений в послевоенной Польше, выделяя философию науки и антропологическую философию как направления, сформировавшиеся и в марксизме, и в томизме, и в феноменологии (Krajewsky 1982). По такому же принципу составлен и сборник «Итальянских исследований по философии науки» (т. 47). Все 25 авторов – итальянские ученые, но предметы их исследований – за единственным исключением – не имеют никакого отношения к контексту итальянской культуры. Вопросы о том, обусловлен ли выбор тех или иных тем, их популярность или непопулярность какими-то обстоятельствами итальянской истории или истории научного сообщества в Италии, в этой книге не поднимаются.

Следующий (после «Итальянских исследований...») том, посвященный тематике национальной науки, вышел в свет лишь через восемь лет. 1980-е годы были кризисным периодом, когда исследователи и издатели стали явно терять интерес к проблемам философии науки. Однако в это же время начал формироваться комплекс новых подходов, базис которого составляли идеи культурологического (антропологического) истолкования феномена науки. Наука стала все более интересовать исследователей как явле-

ние, имеющее локальное измерение, тесно связанное в своем развитии с историей и культурным достоянием конкретных стран. Вероятно, этому способствовало то, что в условиях глобализации борьба за мировое лидерство приобретала характер «конфликта цивилизаций», а не состязания между странами, принадлежащими к одному культурному миру. К тому же и распад социалистического лагеря, вследствие которого научные сообщества многих стран вынуждены были заново выстраивать самоидентификацию, дал мощный импульс развитию тематики национальной науки именно в этом аспекте.

К началу 1990-х годов данный тренд сформировался в достаточно представительное направление. Публикации «Бостонских исследований» свидетельствуют об этом со всей очевидностью. По указанной проблематике иной раз выходит по несколько томов в год. Правда, издатели, видимо, оценив конъюнктуру, стали публиковать материалы, подготовленные задолго до того, как на эту проблематику стал расти спрос. Так, в 1996 году появляются «Китайские исследования по истории и философии науки и техники» – сборник работ китайских ученых, написанных между 1979 и 1985 годами. В 1998 году – «Японские исследования по философии науки» (т. 45). Судя по тому, что этот том вышел в то время, когда в серии шли уже номера третьей сотни, он долго томился в планах издательства. Обе книги вполне соответствуют концептуальной схеме, восходящей к Боклю, так же как «Философия и концептуальная история науки на Тайване» (т. 141). Однако другие тома – это уже в той или иной мере продукты совсем иной эпохи в исследованиях национальной науки.

Национальная наука в эпоху «конфликта цивилизаций»

Характерное для последних десятилетий представление борьбы за мировое лидерство в терминах хантингтоновской концепции конфликта цивилизаций до определенной степени возвращает исследователей науки к теоретическим истокам. Снова проблематизируются темы, в русле которых некогда возникло понятие национальной науки. Опять на повестку дня выходит вопрос о природе и влиянии культурных различий на организацию и тематическую структуру научных исследований, а также на особенности государственной политики в области науки.

В создающемся на наших глазах массиве исследований выделяется критика базовых теоретических наработок XVIII–XIX веков. Наиболее резкая и дотошная критика, как и следовало ожидать, исходит от представителей тех стран, которые были объектом и более или менее добровольным реципиентом идеологии и достижений западной науки. Причем характер критики во многом зависит от того, насколько добровольно входили те или иные страны во взаимодействие с наукой – достоянием ведущих держав мира. Наиболее отчетливо разница в градусе критического настроения видна на примере стран неевропейской культуры. В Европе, даже в православной, например в Греции, некоторая вестернизация не воспринималась как чрезмерная цена за модернизацию страны, особенно в научном отношении.

Такая цена не особенно смущала даже власти Османской империи, а уж создателей Турецкой республики тем более. Будучи европейски образованными людьми, последние имели обычное для конца XIX – начала XX века позитивистское представление о науке, т. е. видели в ней институт, производящий теории, которые не задевают ни ментальности, ни моральных аспектов жизни нации (даже тех, что тесно связаны с экономикой). Поэтому они считали целесообразным начинать модернизацию страны именно с науки⁸.

Сегодняшние турецкие исследователи науки вполне понимают ограниченность такого инструментального отношения к науке, а также взаимное лукавство тех, кто предлагал, и тех, кто принимал плоды западной науки и просвещения. Так, Б. Килинч утверждает, что определенные надежды связывало с европейской наукой и османское правительство, прежде всего – желая обзавестись передовыми видами вооружения. Однако эффект от этого заимствования был куда скромнее, чем планировалось. «Удивительно, но европейцы, как правило, не проявляли охоты открывать военные и инженерные технологии тому, кого считали своим традиционным противником» – поясняет досадный оборот дела исследовательница (Kilinç 2005: 255). Правда, у нее находятся и другие объяснения, не только политического характера.

Анализируя историю науки в своей стране, Б. Килинч и другие турецкие ученые рассматривают ее теперь через призму не только инструментальных контактов с Западом, но и контактов, влияющих

⁸ Один из виднейших идеологов турецких реформ З. Гёкальп прямо говорил: «Наша первая цель – для отдельных людей и для нации – это наука» (цит. по: Kilinç 2005: 257).

на образ жизни и ценности. А в этом случае вопросы о том, почему история науки сложилась так, как сложилась, выводят исследователей в сферу тонких культурных взаимодействий. Например, рассматривая перечень научных трудов по астрономии, переведенных на турецкий язык в XVII – начале XIX века, Килинч обращает внимание на «подозрительное отсутствие канонических трудов Коперника, Кеплера, Галилея или Ньютона» и соответственно – на то, что нет «никаких сведений» о том, что споры между сторонниками гео- и гелиоцентризма сколько-нибудь серьезно интересовали турецких ученых того времени. Этому факту она находит достаточно неожиданное объяснение. Оказывается, таким образом сказалось отсутствие у образованных людей вкуса к произведениям, написанным в форме диалога. В тогдашней турецкой литературе такой жанр попросту не существовал (Kilinç 2005: 254–255).

Б. Килинч также отмечает, что воздействие западной науки на развитие науки в Османской империи имело серьезные особенности в зависимости от того, кто в то или иное время считался представителем Запада. В XVIII веке его воплощением служила Франция. Со второй половины XIX века в образе «Запада» стали проступать черты Великобритании, а с конца XIX века – Германии.

О. Бахадир и Х. Данишман в исследовании развития науки в поздний османский – начальный республиканский период турецкой истории выделяют ряд определяющих моментов. Прежде всего они считают главной заслугой реформаторов-республиканцев создание обстановки, благоприятствующей развитию институтов современного образования и деятельности ученых. Однако этот успех был обусловлен и обстоятельствами предшествующей эпохи. Так, в противовес консервативной системе религиозного образования через медресе еще османским правительством были созданы либеральные школы, готовившие врачей, а также военных и гражданских инженеров. Из них впоследствии и вышли руководители системы образования, созданной республиканцами. Республика, таким образом, унаследовала от османского периода уважаемую научную традицию, представленную рядом ученых, имеющих международное признание. Более того, ученые и издатели научных трудов, которые определили характер и последствия республиканских реформ в области образования и науки, сами могли обеспечить непосредственный перенос «свежайших» научных достижений, поскольку имели дипломы и ученые степени лучших учебных заведений Европы.

Перечисленные факторы способствовали эффективному устранению всего, что могло препятствовать свободному развитию науки и превращению турецких университетов (после реформы 1933 года) в современные институты образования и проведения исследований.

Данный пример интересен тем, что подобная историческая схема вполне могла бы быть интерпретирована в духе старого концепта национальной науки. Иначе говоря, выводы этого исследования можно было бы представить как демонстрацию того, что для **науки** не существует национальных границ. Между тем авторы ставят себе в заслугу выделение ключевых характеристик «уникального прецедента перенесения науки» в культуру своей страны (Bahadır, Danişman 2005: 306–307). Здесь отчетливо видно смещение фокуса исследовательского интереса к проблемам развития науки в отдельных странах.

Правда, для турецких ученых (по крайней мере, для авторов сборника) вопрос о том, насколько далеко и как резко можно допустить смещение фокуса в сторону исследования национальных (локальных) аспектов науки, очень серьезен. Не такой уж далекий оттоманский период истории турецкой науки несет на себе следы разрушительного воздействия и религиозного шовинизма, и этнического национализма, и знание об этом обостряет гражданскую ответственность исследователей. В уже цитированной статье Б. Килинч достаточно жестко, хотя и не вступая ни с кем в полемику, говорит об историках, которые, руководствуясь определенной идеологией, «упускают из виду» те или иные культурные влияния или отрезки времени (Kilinç 2005: 258). В результате история начинает трактоваться в интересах того или иного сообщества, идентифицирующего себя по религиозному, этническому или политическому признаку. Скажем, понятно, кто выигрывает, если идеи европейской науки объявляются прямо вытекающими из контекста восточной культуры.

Однако в «Бостонских исследованиях» представлены и такие подходы к истории науки, сторонников которых вряд ли можно смутить упреком в идеологической ангажированности. Хотя они, пожалуй, рассматривают свою позицию как вынужденную, ибо считают себя пострадавшими от идеологии, фундирующей всем известный позитивистский концепт национальной науки. Поэтому для них дело чести – обнажить и корыстные интересы его создателей, и ряд фальсификаций исторического материала, обуслов-

ленных именно идеологическими установками европейских историков.

В частности, книга «Наука и империи» (т. 136), вышедшая в 1991 году, поднимает проблему становления «колониальных моделей науки» и их влияния на особенности науки в странах, освободившихся от колониального ига. В контексте постколониального дискурса обсуждается и роль науки как средства укрепления господства колонизаторов. Так, доказательству тезиса, согласно которому именно таким целям служила интерпретация науки как исключительно европейского по происхождению феномена, посвящает интереснейшую главу Р. Рашид в книге «Развитие арабской математики: между арифметикой и алгеброй» (т. 156).

Фактически здесь на историю науки распространяются те критические приемы, которые в 1970-х годах разработал арабский философ Э. Саид, автор знаменитой книги «Ориентализм». Объект анализа в этой книге – то, что Саид вслед за Д. Хэем называет «идеей Европы» («идея европейской идентичности как превосходства над всеми другими народами и культурами»). Соответственно в практиках европейских ориенталистов разоблачаются приемы установления и оправдания гегемонии колонизаторов над покоренными народами. Особое место отводится арабскому Востоку, поскольку «это не только сосед Европы, но еще и место расположения ее самых больших, самых богатых и самых старых колоний, это исток европейских языков и цивилизаций, ее культурный соперник, а также один из наиболее глубоких и неотступных образов Другого» (Саид 2006: 16, 8).

Рашид, применяя критический инструментарий Саида к исследованиям истории математики, не вполне разделяет его радикализм, источником которого служит убеждение, что «по большому счету только арабский и исламский Восток представлял для Европы серьезный вызов на политическом и интеллектуальном, а иногда и на экономическом уровнях» (Там же: 115). Он только позволяет себе выразить назидательное изумление по поводу того, что представление о науке как исключительно европейском феномене продолжает жить и в наши дни, несмотря на широкую известность, например, исследований Дж. Нидама по истории китайской науки, на многочисленные труды, посвященные арабской науке, и т. п. (Rashed 1994: 333).

После этого он предлагает ряд исторических фактов, обращение к которым призвано пробудить критические способности тех,

кто упорствует в евроцентрическом понимании науки. Например, он напоминает, что для математиков и философов XVIII века – Ж. д'Аламбера, Ж. А. Кондорсе, Б. Фонтенеля – «было бы абсурдом выведение классической науки исключительно из науки и философии греков». Определение ее как европейской означало для них только одно: совпадение момента эмпирической истории с неким пунктом истории идеальной. Поэтому-то сотруднику д'Аламбера и Кондорсе математику Ш. Боссю не казалось зазорным утверждать, что все великие люди древности увлекались математикой и поддерживали ее. В числе великих им упоминаются халдеи, египтяне, китайцы, индийцы, греки, латиняне, арабы и другие (Rashed 1994: 335).

А вот уже в XIX веке после ряда таких «открытий», как исключительная способность флективных индоевропейских языков к созданию абстрактных понятий, пригодных для создания языка науки (Шлегель), а тем более после расистских выводов из этой концепции, сделанных Э. Ренаном, математики и историки науки находят себя в доказательствах того, что арабская наука не внесла⁹ никакого оригинального вклада в развитие того, что унаследовала в свое время от греков (*Ibid.*: 336–339).

Кстати, Рашид отмечает и такой интересный момент: к характерным особенностям классической науки (и, соответственно, заслугам ее создателей) европейцы причисляют разработку экспериментальных методов и создание строгих методов математического доказательства. При этом в перечень недостатков арабской науки (и математики, и естествознания) всегда включают ее практическую направленность. Автор считает своим долгом восстановить историческую справедливость, требуя, наконец, признать несомненную и решающую роль арабских ученых в создании экспериментального метода классической науки. Тем более что даже среди европейских ученых XIX века такого взгляда придерживались, например, А. Гумбольдт и С. Карно.

⁹ Потому, например, что арабский язык относится не к флективным, как индоевропейские языки Европы, а к агглютинативным, которые в принципе не приспособлены к выражению жестких логических связей. А может быть, потому, что люди Востока по своему психологическому складу чужды всякой дисциплине, в том числе не способны последовательно, дисциплинированно (доказательно) рассуждать. Рашид показывает, что примерно за 100 лет идеологическая установка подавила первоначальное стремление европейских ученых к независимому, критическому восприятию исторической действительности и даже роковым образом ослабила их логику.

А что касается математических методов, то здесь и вовсе, по мнению Рашида, имеет место научная недобросовестность историков, доходящая иногда до смешного. Например, у автора известной «Истории естествознания» П. Таннери он находит утверждение о том, что Диафант, написавший знаменитую «Арифметику», не принадлежал к греческой математической школе и в этом смысле «вряд ли был греком», и тут же – что *арабская* «Алгебра» ни в чем не превосходит уровня «Арифметики» (Rashed 1994: 336–339). Более того, даже «картезианская революция» в свете беспристрастной истории достижений арабской математики оказывается плодом «неточно интерпретированной или урезанной истории» (*Ibid.*: 343). Скромно претендующий на выяснение тех последствий, которые влечет за собой интерпретация науки как порождения исключительно европейской культуры, Рашид предлагает такое смещение фокуса в истории науки, которое камня на камне не оставляет от (пока?) доминирующей традиции.

Очень важно, на мой взгляд, подчеркнуть, что наблюдаемое обращение к новому концепту национальной науки не просто оживляет тематику старинных споров и поощряет переосмысление, казалось бы, канувших в прошлое сущностей. Здесь возникают и сюжеты, *неведомые прежде исследователям науки*. Например, поднимаются вопросы не только о том, как культурная специфика того или иного общества может повлиять на судьбу науки в соответствующей стране, но и о тех изменениях в культуре, которые возникли под влиянием науки.

Иллюстрацией может служить позиция авторов и составителей сборника «Восприятие дарвинизма в Иберийском мире: Испания, Испанская Америка и Бразилия» (т. 221). Здесь наряду с работами, посвященными философскому анализу тех или иных конструктов биологической теории эволюции, имеются статьи о социальных последствиях распространения теории естественного отбора в странах, переживающих процесс формирования национального самосознания. Наука, философия, образование, перипетии политической истории через призму дарвиновской идеи видятся акторами единого драматического процесса. Концепция науки, восходящая к идеям европейского Просвещения, и ее роль в формировании национальной идентичности мексиканцев затрагиваются в «Мексиканских исследованиях по истории и философии науки» (т. 172). В очень скромном аспекте, но фактически ту же цель формирования идентичности имеют в виду создатели сборника «Квебекских

исследований», когда отмечают, что им впервые удалось собрать под одной обложкой работы англоязычных и франкоязычных канадских специалистов (т. 178).

Особенные задачи объединяют исследователей философии из стран Восточной Европы. Например, в «Эстонских исследованиях по истории и философии науки» (т. 211) говорится о ценности того уникального исторического опыта, который имеют эстонцы в области организации науки – и как (в прошлом) представители великой державы, и как (в настоящем) граждане маленькой страны, перед которой стоит задача интеграции в европейскую систему производства научных исследований (Martinson 2001).

Для стран, традиционно входящих в группу создателей и лидеров современной науки, выдвижение нового концепта национальной науки тоже содержит серьезные вызовы. Так, ряд авторов французского тома поднимают вопрос, соответствует ли магистральной линии развития философских исследований науки то внимание к проблемам сознания и субъективности, которое отличает современную философию науки во Франции от ориентированной на формальные методы эпистемологии в англосаксонских странах. Если оправдается предположение о том, что в XXI веке философия науки вновь станет спекулятивной дисциплиной, это сулит французам некоторые преимущества (Fagot-Largeault 2009; Parohhia 2009).

В России, насколько я могу судить, актуальность и перспективность подобной проблематики практически не осознается. В противном случае формулировка основной цели развития национальной науки не могла бы, например, быть сведена к очередному призыву достичь «мирового уровня», но содержала бы концепт той специфической миссии, которую российская наука принимает на себя как в жизни своей страны, так и в мировой науке. «Мировой уровень» – это ведь всего лишь характеристика степени нашего знакомства с *инструментальными* новшествами, доступными современным ученым. Само по себе желание овладеть этим арсеналом похвально. Беда в том, что как таковое оно неосуществимо. Новые инструменты создаются под новые задачи, но на право выдвигать такие задачи, т. е. на участие в формировании повестки дня современной науки, мы, похоже, не претендуем¹⁰.

¹⁰ «Стратегической целью государственной политики в области развития науки и технологий является выход Российской Федерации к 2020 году на мировой уровень исследований и разработок» (Основы... 2011) – разве такая формулировка стратегической цели не содержит имплицитного отказа от претензий на лидерство в мировой науке?

Мы все еще невосприимчивы к идее, которая не так уж и нова: мировому сообществу мы можем быть интересны только там, где мы оригинальны и в постановке, и в подходах к решению научных задач. Отдельные области знания уже продемонстрировали в своем развитии эвристический потенциал этой идеи. Примером является тот эффект, который дали разработки автохтонных моделей капитализма. Речь идет не только об экономическом успехе, скажем, Сингапура, где одна из таких моделей была положена в основу политики реформ, но и о тех теоретических находках, которые стали неотъемлемыми достижениями мировой экономической мысли. На мой взгляд, похожие тренды все более обнаруживаются и в современном развитии комплекса естественно-математических наук, а стало быть, подлинный выход на мировой уровень для нас возможен только при осознании себя полноправными, достойными носителями традиций и ценностей своей культуры и выразителями своих интересов.

Литература

- Бокль, Г. Т.** 2007. *История цивилизаций: История цивилизации в Англии*. М.: Директ-Медиа.
- Бэкон, Ф.** 1972. Новая Атлантида. В: Бэкон, Ф. *Соч.*: в 2 т. Т. 2. М.: Мысль.
- Гуриев, С., Ливанов, Д., Северинов, К.** 2009. Шесть мифов Академии наук. *Эксперт* 48(685): 53–56.
- Кареев, Н. И.** 1992. О духе русской науки. В: Маслен, М. А., *Русская идея*. М.: Республика, с. 171–184.
- Матурана, У. К., Варела, Ф. Х.** 2001. *Древо познания. Биологические корни человеческого познания*. М.: Прогресс-Традиция.
- Основы** политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2020 года и дальнейшую перспективу (Проект документа). URL: http://www.snto.ru/page.php?parent_id=140
- Саид, Э.** 2006. *Ориентализм*. СПб.: Русский мир.
- Тишков, В. А.** 2000. Нация – это метафора. *Русский архипелаг*. URL: www.archipelag.ru/geoculture/new_indent/postnatio/nation
- Чехов, А. П.** 1987. Записные книжки. *Соч.*: в 18 т. Т. 17. М.: Наука.
- Щетинина, Г. И.** 1976. *Университеты в России и устав 1884 года*. М.: Наука.

Bahadir, O. R., Danişman, H. H. G. 2005. Late Ottoman and Early Republican science periodicals. *Turkish Studies in the History and Philosophy of Science* 244: 285–307.

Cohen, R. 1991. Preface. *World Views and Scientific Discipline Formation Science Studies in the German Democratic Republic*. BS. Vol. 134: iv–xvi.

Fagot-Largeault, A. 2009. The Legend of Philosophy's Striptease (Trends in Philosophy of Science). *French Studies in the Philosophy of Science Contemporary Research in France*. BS. Vol. 276: 25–49.

Kilinç, B. 2005. Ottoman Science Studies – a Review. *Turkish Studies in the History and Philosophy of Science*. BS. Vol. 244: 251–263.

Krajewski, W. 1982. Introduction: Polish Philosophy of Science. *Polish Essays in the Philosophy of the Natural Sciences*. BS. Vol. 68: 3–17.

Martinson, H. 2001. Formation R&D Policy in a Small Country in a Changing World. *Estonian Studies in the History and Philosophy of Science*. BS. Vol. 219: 63–76.

Parohia, D. 2009. French Philosophy of Technology. *French Studies in the Philosophy of Science Contemporary Research in France*. BS. Vol. 276: 51–70.

Rashed, R. 1994. *The Development of Arabic Mathematics: Between Arithmetic and Algebra*. BS. Vol. 156.

Scientific Glasnost. *Nature* 464. 11 March 2010. URL: <http://www.nature.com/nature/journal/v464/n7286/full/464141b.html>